

БЕНЕДИКТ АНДЕРСОН

## Копия, аура и поздненационалистическое воображение<sup>1</sup>

«На свете нет ничего, что было бы столь же незаметно, как памятники», — писал Роберт Музиль в своем «Прижизненном наследии».

А ведь ставят их, несомненно, для того, чтобы их видели, ну прямо-таки чтобы привлечь внимание к ним; но они словно пропитаны каким-то отталкивающим веществом, и оно, внимание, стекает с них, словно водяные капли с масляного покрова, не задерживаясь ни на мгновение. Человек может месяцами ходить по одной улице, он будет знать номер каждого дома, каждую витрину, каждого полицейского на дороге, для него не останется незамеченной десятипфенниговая монета на тротуаре; но он наверняка каждый раз будет очень удивляться, если, высматривая хорошенькую горничную на втором этаже, однажды обнаружит при этом металлическую, совсем не маленькую доску, на которой неизгладимыми литерами высечено, что на этом месте с тысяча восемьсот такого-то до тысяча восемьсот такого-то года жил и творил незабвенный тот-или-этот-самый. То же самое происходит со многими людьми по отношению даже к статуям выше человеческого роста... Но на них никогда не смотрят и обычно не имеют ни малейшего представления о том, кого они увековечивают, разве только знают, мужчина это или женщина.

Музиль язвительно продолжает:

Если мы желаем монументам добра, мы неизбежно должны из этого сделать вывод, что они предъявляют нам требование, которое претит нашей натуре и нуждается для своего выполнения в совершенно особых мерах... Одним словом, ныне памятники тоже должны несколько больше напрягаться, как делаем это все мы!..

<sup>1</sup> Anderson B. *The Spectre of Comparisons: Nationalism, Southeast Asia and the World*. London and New York: Verso, 1998. P. 46-57.

Почему отлитый в бронзе герой не прибегает хотя бы к давно устаревшему в других областях средству — постучать пальцем в окно? Почему фигуры мраморной группы не вращаются одна вокруг другой, как это делают фигуры в витринах магазинов побогаче, или по крайней мере не открывают и закрывают глаза? Самое меньшее, что можно было бы порекомендовать для привлечения внимания, — это испытанные надписи типа: «Гетевский Фауст — наилучший!» или «Драматические идеи известного писателя X — самые дешевые!»<sup>2</sup>

Возможно, он был прав и в общем, но его проказливо беззаботные замечания особенно точны в том, что касается трудностей с поминовением в поздних официальных национализмах — всех тех национализмах, которые к концу XX века обзавелись своими государствами.<sup>3</sup> В этой статье предпринимается попытка рассмотрения природы этих национальных трудностей и тупика воображения этого типа национализма в ходе размышлений над различными судьбами публичных мемориалов национальным умершим. Большая часть материала касается Соединенных Штатов и их полузабытой бывшей колонии Филиппин как потому, что воображение последних было во многом сформировано первыми, так и потому, что в то же самое время последние служат показательным примером политического сопротивления официальному национализму. Европа — родина официального национализма — неизбежно проявляется и тут, и там.

Мемориал Линкольна в Вашингтоне, округ Колумбия, был открыт в 1922 году, в эпоху радио, «Форда Т» и самолета, но «Дровосек» не вращался, как язвительно предлагал Музиль, на своем постаменте; его глаза не открывались и не закрывались; он не постукивал пальцем; и его не украшала надпись типа «Линкольн — президент номер один!» С другой стороны, бюрократ, отвечавший за проект, заботливо написал, что рядом с изображением «Дровосека» —

в классическом пространстве размещены 125 электрических ламп «Мазда», оснащенных отражателями... Кроме того, на 12 стеклянных панелях, каждая размером 30 на 47 дюймов, на потолке Мемориального зала размещены 24 мощных электри-

<sup>2</sup> Музиль Р. *Малая проза*. Т. 2. М., 1999. С. 133, 135.

<sup>3</sup> Термин «официальный национализм» впервые был использован в блестящей работе: Hugh Seton-Watson. *Nations and States: An Enquiry into the Origins of Nations and the Politics of Nationalism* (Boulder, Col.: Westview, 1977). Я подробно писал о нем в работе: Андерсон Б. *Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма*. М., 2001. Особ. Гл. 6. Применительно к XIX веку под ним понимается макиавелевский «политический национализм», созданный династическими государствами и архаической знатью для своего собственного выживания и включавший в себя элементы существовавших моделей («креольско-республиканской» и «этнолингвистической») народного национализма. Широкое распространение национальных государств, начавшееся после 1918 года, почти повсеместно привело к освоению этими государствами династических политических инструментов.

ческих прожектора, призванных исправить неестественные тени, которые создаются на статуе дневным светом, проникающим сквозь главный вход.<sup>4</sup>

Кроме того, на стене позади статуи *есть* надпись, которая гласит: «В этом храме, как и в сердцах людей, для которых он сохранил союз, увековечена память об Аврааме Линкольне».<sup>5</sup>

В этом содержится нечто особенно поздненационалистическое. Образ «Дровосека» помещен в «храм», созданный архитектором Генри Бейконом в подражание древнегреческим храмам. Искусно продуманная имитация убранства и игры теней средневековой церкви достигнуто благодаря заботе корпорации Маза об устранении неестественного, равнодушного солнечного света. (Если представлять историю в виде эстафеты, то именно здесь нация забирает эстафетную палочку из обесиленной руки религии).

Надпись обладает схожей логикой. Сначала нас заверяют, что здание, в которое мы вошли, является храмом, причем «настоящим», который по фасаду, возможно, неотличим от множества банков, братств, страховых компаний и судов. Кроме того, этот храм принадлежит к серии «мест увековечивания», к которым принадлежат также «души людей»; или, возможно, «души людей» — это просто серийные храмы. Увековечиваются не единственные в своем роде мощи Линкольна, как если бы он был новейшим святым, а нечто одновременно призрачное и бесконечно копируемое: «память» о нем. Это «увековечивание» происходит в «народе», нации и не требует наступления Судного Дня.

Несомненно, описанное выше искусное владение постановочными приемами создает — особенно после наступления темноты — своеобразное *son et lumière* присутствие, которое, однако, сразу же исчезнет, если переместить образ в Замок Херста, а храм — в Дартмутский колледж. В то же время мемориал Линкольна имеет нечто общее с памятниками, над которыми потешается Музиль: постоянно присутствующая возможность выпадения из внимания. Это видно из его неспособности давать четкие указания. Что нужно делать? Упасть на колени? Разуться? Семь раз обойти его против часовой стрелки? Петь? Молиться? Просить благословения? Поклониться? Испросить совета? Предложить что-нибудь? Стоять в оцепенении двадцать минут? Все это кажется не слишком правдоподобным.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Edward F. Concklin. *The Lincoln Memorial*. Washington, DC: Government Printing Office, 1927. P. 45.

<sup>5</sup> Ibid. P. 44.

<sup>6</sup> Эта неправдоподобность прекрасно показана в серии «Симпсонов» под названием «Мистер Лиза едет в Вашингтон», где младшая сестра Барта Симпсона Лиза просит совета у статуи «Дровосека». Ее голос заглушается гвалтом взрослых посетителей: «Я уделяю мало времени своему сыночку», «Стоит ли сейчас покупать дом?», «Что я могу сделать, чтобы наша страна стала лучше?», «Мне пойдут усы?». Непокосимое безмолвие «Дровосека» никого не волнует. Превосходный анализ этой серии «Симпсонов» см.: Lauren Berlant. *The Theory of Infantile Citizenship* // *Public Culture*.

Почти всем понятно, что статуя и окружающая обстановка — это копии, причем копии необычные, *потому что у них нет оригинала*.<sup>7</sup> (Возможно, именно поэтому многие люди, желающие выразить почтение, не видят ничего зазорного в том, чтобы сделать фотографии просто Линкольна, Линкольна с собой, членами своих семей, друзьями или любимыми — в то время, когда администрация мемориала разрешает это делать).

Но в то же время копия мемориала Линкольна тотчас ассоциируется со стоящей неподалеку копией Томаса Джефферсона. И здесь возникают мысли о единичности человеческих образов позднего официального национализма, точнее о том, что они как таковые никогда не могут быть единичными. Трудно говорить о Мадзини, не вспоминая о Макиавелли, Кавуре, Данте и Д'Аннунцио, которые спокойно заменяют друг друга в качестве национальных героев, как этого требует от них сама серия. Гора Рашмор служит примером такой беззаботной заменимости образов. Это означает, что памятники национальным героям лишены ауры, наподобие той, что присутствует в ощущении *оригинальности* «Менин» — при любом, даже неестественном освещении,<sup>8</sup> — Стены Плача или Ангкор-Ват. В их присутствии никому не приходит в голову фотографировать; и это табу вознаграждается: известно, что сакральное появляется тогда, когда его невозможно поймать в объектив. В этот момент человек перестает быть туристом и становится паломником. С другой стороны, тот факт, что памятники национальным героям лишены ауры, означает также, что они без труда могут распространяться на различных носителях — марках, футболках, открытках, обоях, плакатах, видеозаписях, сувенирах и так далее, — не создавая ощущения профанации. Возможно, наиболее показательным примером могут служить американские деньги. Пять копий Джорджа Вашингтона не просто дадут вам хорошую сигару, а пять Эндрю Джексон — номер на ночь в заурядной гостинице: обратной стороной последовательного ослабления престижа — Вашингтон, Линкольн, Джефферсон, Джексон — оказывается снижение покупательной способности (так, Вашингтон составляет одну двадцатую Джексона, Линкольн — половину Джефферсона), но никто не возражает против этого и даже не задумывается об этом.

Это становится более заметно, если присмотреться к тому, что происходит, когда в сериях копий неожиданно начинает ощущаться присутствие ауры. 30 декабря 1896 года в центре Манилы местной расстрельной командой во главе с испанским офицером был публично казнен великий писатель, поэт и моралист Хосе Рисаль. В первую годовщину

Spring 1993. Vol. 5. P. 1-16 (переиздано в: Geoff Eley and Ronald Gregor Suny (eds.) *Becoming National: A Reader*. New York and Oxford: Oxford University Press, 1996. P. 495-508).

<sup>7</sup> Образцом здесь служит национальный флаг каждой страны.

<sup>8</sup> Эта аура отчасти является аурой «великих произведений искусства», измеряемой астрономическим разрывом между их рыночными ценами и ценами самых искусных копий. Но «Менины» обладают своим особым светом. В Прадо, насколько я помню, это полотно висит одно в затемненной комнате.

его смерти революционное правительство Эмилио Агинальдо выпустило прокламацию, призывавшую патриотов помянуть мученика любым способом, который они сочтут уместным. Первый «монумент Рисаля» был создан уже во время революции. Но это была не статуя Рисаля, а полумасонская абстракция, на которой были начертаны названия двух его электризирующих романов, словно говоря: «Прочти их! А затем сражайся за свободу своей страны!»

Вскоре после того как Филиппинская республика потерпела поражение от американского империализма, статуи, которые раньше были элементом внутреннего убранства и украшением фасадов церквей, внезапно стали появляться на площадях. Почти все они возводились *hacendados* и другими знатными людьми, имена которых наносились на пьедесталы, и в большинстве своем были копиями Рисаля. Так началось создание серий Рисаля — не только путем его механического удвоения, но и путем помещения его лика рядом со статуями других мертвых героев. Новая образованная элита объявила его «первым филиппинцем» вскоре после того как американцы начали проводить переписи «филиппинцев». Наконец, колониальный режим позволил возвести монумент Рисаля, увенчанный статуей мученика, на месте его казни, который в конечном итоге стал основой сегодняшнего тщательно продуманного парка Лунета. После 1946 года, когда Америка вернула Филиппинам независимость, члены кабинета министров начали приходить к памятнику на рассвете в день его казни для проведения непродолжительной формальной церемонии, а военные корабли в гавани Манилы стали по этому случаю давать многократный салют. Нечто подобное, хотя и в меньшем масштабе, совершается в Маниле через несколько месяцев у монумента второму филиппинцу, революционеру Андресу Бонифацио, который — увы! — был казнен по приказу Агинальдо. Пока в этом нет ничего необычного.

Но если подождать в Лунета еще немного, то можно увидеть, как сюда со всех сторон начнет стекаться множество паломников, многие из которых будут одеты в белое или цвета первого флага революции 1896 года. Они прекрасно знают, что делать: они поют, молятся, встают на колени, закрывают глаза в медитации, маршируют рядами, держатся за руки, плачут, просят благословения, согласно соответствующему протоколу. Их небрежно называют рисалистами, хотя одни из них считают, что Рисаль был заново распятым, или филиппинским Христом, а Лунета — Голгофой; другие полагают, что он не умер, а в священных горах дожидается своего часа, чтобы вернуться и спасти свой страдающий народ;<sup>9</sup> третьи верят, что к его могучему духу можно приобщиться при помощи эзотерических практик в определенное время в определенных — святых — местах, к которым, среди прочего, относятся государственный День Рисаля и монумент Лунета. Одним словом, он все еще

<sup>9</sup> См., напр.: Reynaldo Clemeña Peto. *Pasyón and Revolution: Popular Movements in the Philippines, 1840-1910*. Manila: Ateneo de Manila Press, 1979. P. 77, 206-207.

здесь. Такие люди верят в медиумов, а не в медиа. Правительство старается не замечать<sup>10</sup> этих паломников, причем не только потому, что его не привлекает идея возвращения первого филиппинца в Судный день, но и, прежде всего, потому, что его собственный протокол зависит от заменимости Рисаля. Но для самих паломников Рисаль — единственный, незаменимый, непродаваемый, не включенный в серию, а его магнетическая аура возникает из его «мениновской» единичности.

Если теперь перейти от копий национальных умерших к официальным местам, где покоятся их останки, нетрудно заметить параллели между противоположными судьбами «Дровосека» и Рисаля.

Соединенные Штаты, по-видимому, первыми создали национальное кладбище, но не нужно удивляться, что это произошло спустя почти сто лет после войны за независимость. Сразу после Геттисбергской битвы конгресс выделил средства на создания специального места для погребения павших — солдат Федерации, солдат Конфедерации и неопознанных солдат — на самом поле битвы. Телу каждого мертвого избирателя или потенциального избирателя была отведена отдельная могила и памятный камень.<sup>11</sup> Но Геттисберг имел слишком поспешный и экспериментальный характер, а погибшие в других крупных и кровавых сражениях Гражданской войны не были погребены в подобной политической манере. Только, насколько нам известно, во время и сразу же после Первой мировой войны опытный образец, если можно так выразиться, был выведен в массовое производство. И, как можно было ожидать, наиболее успешным производителем оказалось наиболее опытное индустриальное капиталистическое государство — Великобритания, которая все еще включала в себя Ирландию.

Как пишет Томас Лакер, в марте 1915 года, накануне смерти Руперта Брука в Скиросе и после переговоров с Парижем о создании постоянных кладбищ для британцев во Франции была создана официальная Комиссия по погребению и регистрации павших.<sup>12</sup> К марту 1916 года в Лондоне было решено создать «примерно 200 кладбищ» и запланировать еще

<sup>10</sup> Эти паломники исправно приезжают каждый День Рисаля, но ни один чиновник не выступает перед ними с приветственной речью и не разговаривает с ними, а для их выдворения не привлекают полицию.

<sup>11</sup> К 1860-м годам американское правительство уже не раз избиралось почти всеми взрослыми белыми мужчинами, и американские армии во время войны комплектовались за счет обязательного призыва граждан-избирателей. Поэтому политики прекрасно осознавали, что мертвые были избирателями или, если проходили по возрасту, могли ими стать и что выжившие мужчины продолжают голосовать. Нет никакой нужды специально подчеркивать отличие этой ситуации от ситуации времен войны за (национальную) независимость. Разве не этим объясняется, почему погибшие в Вэлли-Фордж остались незамеченными?

<sup>12</sup> Этот раздел во многом написан на основе статьи: Thomas W. Laqueur. *Memory and Naming in the Great War* // John R. Gillis (ed.) *Commemorations: The Politics of National Identity*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994. P.150-167.

от 300 до 3000 в зависимости от накала последующей борьбы. Так начался процесс, который закончился только в 1938 году, когда было создано 1850 таких кладбищ в основном во Франции и Бельгии. От Геттисберга британское правительство переняло идею о том, что мертвые должны иметь собственную личность и обозначенные могилы, но при этом быть аккуратно сгруппированными вместе, по возможности близ полей сражений, на которых они сложили свои головы. К 1930 году примерно 557 520 солдат империи — четыре пятых из Великобритании — были опознаны и похоронены в персональных, поименованных могилах. Еще 180.861 неопознанное тело также было погребено в индивидуальных могилах. Память о 336 912 человек, тела которых пропали, оказались разорванными в клочья или втоптаннами в грязь, можно было сохранить, только нанеся их имена на стелы, возведенные как можно ближе к местам, где их в последний раз видели живыми. Всего более миллиона.

По-настоящему британским новшеством было обеспечение ухода за этими кладбищами. Интересно посмотреть, как это осуществлялось. Важнейшим шагом здесь была национализация — во всех смыслах этого слова. Во-первых, государство установило монопольный контроль над всеми телами, памятниками и кладбищами. Семьям павших юридически было запрещено перевозить останки своих родственников на родину. Иными словами, — и это поразило Руперта Брука, — британское правительство сделало так, чтобы многочисленные захоронения за рубежом «были Англией всегда». Во-вторых, оно сделало все, что было в его силах, чтобы сохранить национальную принадлежность мертвых (возможно, в духе Георга фон Саксен-Кобург-Гота [также известного, как Георг V], который 17 июля 1917 года обнародовал королевскую декларацию, что он и все остальные потомки-мужчины его бабушки Виктории, которые были британскими подданными, возьмут национальную фамилию «Виндзоры»). Наиболее важным средством для достижения этой цели было утверждение, часто вопреки сильному внутреннему противодействию, что их могилы и надгробные камни должны оставаться как можно более единообразными и что они должны быть захоронены по четкой пространственной сетке. Не должно было быть ничего, что отличало бы представителей среднего класса от рабочих, офицеров от сержантов и рядовых, англичан от шотландцев, валлийцев и ирландцев. Родственникам разрешено было представить на рассмотрение Комиссии по погребению<sup>13</sup> надпись из 66 знаков, за нанесение которой на могильный камень взималась отдельная плата. В результате при взгляде даже с небольшого

<sup>13</sup> Здесь сочетались две вещи — высокомерие правящего класса и официальный национализм. Постоянный заместитель министра труда писал: «Мы должны предпринять все усилия, чтобы сделать такие кладбища как можно более привлекательными, и не допустить того, чтобы они стали бельмом на глазу сельской Франции из-за отвратительных надгробий, которые обычно возводят родственники» (*ibid.*, p. 155). Но обязательное отсутствие вульгарных «родственников» также гарантировало сохранение «национальной собственности» на тела погибших.

расстояния они не должны были ничем выделяться. У посетителя могло сложиться впечатление, что на огромном кладбище мертвые, если можно так выразиться, продолжали выполнять команду «смирно», хотя и в горизонтальном положении. Его также побуждали начать подсчитывать такие взаимозаменяемые символические целые числа, которые часто ставятся на останках искалеченных солдат, показывая, насколько важен для позднего официального национализма подсчет тел, причем не только при проведении переписей или в дни выборов.

Париж и Вашингтон добились в этом значительно меньших успехов, чем Лондон, и полезно задуматься — почему? Во Франции у государства не было Ла-Манша, который помогал поддерживать его монополистические притязания. «Родственники» быстро занялись похищением тел, которое со временем становилось все более наглым. Обладавшая немалым влиянием католическая церковь открыто выразила неприязнь к кладбищам, расположенным вдали от мест религиозного поклонения и казавшихся пронизанными миазмами антиклерикализма Третьей республики. Невозможно было разделить погибших по вероисповеданию — крест для христиан (протестантов или католиков), звезда Давида для евреев и минарет для мусульман (многих выходцев из Алжира, обосновавшихся в метрополии). В случае с Соединенными Штатами исторически слабая федерация, столкнувшись с сильным гражданским обществом, не могла сравниться с официально-националистическими мобилизациями Уайтхолла. Несмотря на энергичные попытки отдельных влиятельных политиков сохранить американских павших на «американских» кладбищах на французской, бельгийской и английской земле, где они могли символизировать недавнюю и, возможно, будущую военную славу Соединенных Штатов в Европе, никаких систематических успехов добиться не удалось.<sup>14</sup> Лишь 30 % мертвых не смогли совершить трансатлантическое путешествие домой, и именно родственники остальных 70 %, а не государство, решали, будут они похоронены частным образом или на государственных или национальных кладбищах. Несомненно, одной из причин этой демократической победы над Левиафаном был тот факт, что последние войны республики велись на Кубе и Филиппинах, варварских странах, в которых ни один американец явно не хотел быть похороненным. Установилась традиция, которая позднее гарантировала долгий путь домой многим американцам, погибшим в войнах в Корее и Вьетнаме. Более любопытно, что конгресс чувствовал себя обязанным оплатить билеты в оба конца и другие расходы для всех матерей (но не жен), которые хотели навестить своих сыновей, погребенных в европейской земле. И все же имелось показательное американское отличие. Белые матери путешествовали каютным классом на роскошных океан-

<sup>14</sup> Большая часть этого абзаца написана под влиянием работы: G. Kurt Piehler. *The War Dead and the Gold Star: American Commemoration of the First World War* // Gillis (ed.) *Commemorations*. P.168-185.



ских лайнерах и селились в первоклассных гостиницах, а черные матери должны были довольствоваться коммерческими пароходами и селиться в жилье, которое никогда не дотягивало до пяти звезд.

Если такой была судьба безвестных массовых жертв войны, то как официальный национализм обходился с образцовыми знаменитостями, большинство из которых умерло в своих постелях? Пример Франции особенно показателен.

В 1764 году по заказу Людовика XV архитектор Суфло начал строительство церкви в честь покровительницы Парижа, святой Женевиевы, но задуманной в классическом стиле по образцу собора святого Павла в Лондоне. Возможно, благодаря этому стилю она и стала во время Великой французской революции Пантеоном для перезахоронения таких национальных божеств, как Вольтер и Руссо.<sup>15</sup> Свидетельством смены собственника с династического государства на национальное служит надпись на фасаде: *Aux Grands Hommes La Patrie Reconnaissante*. Сначала в 1828-1830 годах, а затем в 1851-1870 годах при недалеком внучатом племяннике Наполеона зданию на какое-то время был возвращен религиозный статус. Только в 1880-х годах *La Patrie Reconnaissante* одержала окончательную победу над святой Женевиевой. Но аура всегда обходила Пантеон стороной, хотя ему, бесспорно, и удается привлекать к себе туристов. Чтобы ответить на вопрос, почему это именно так, полезно сравнить его с национальным парком горы Рашмор и логикой взаимозаменяемости в национальных сериях *grands hommes*. Ни Вашингтон, ни Джефферсон и Теодор Рузвельт, ни Линкольн не похоронены на горе Рашмор, но, если бы они и были похоронены там, это бы ничего не изменило. Посетитель стоит у перил на краю огромной автостоянки, всматривается в образы «наших самых великих президентов», положение которых гарантируется присутствием друг друга, а затем уезжает на восток или запад. В то же время в Пантеоне: посетитель смотрит на имена «великих французов» в ограниченной серии, где Вольтер и Руссо заменяют друг друга, прежде чем пойти дальше.<sup>16</sup> Тела этих

<sup>15</sup> Об истории Пантеона см.: Valérie-Noëlle Jouffre. *Le Panthéon*. Paris: Éditions Ouest-France, 1994. Памятной вехой здесь стали события апреля 1791 года после смерти Мирабо. Учредительное собрание проголосовало за захоронение его останков в месте, соответствующем его героическому вкладу в Революцию. (Увы, без долгих разговоров в ноябре 1793 года он был «депантеонизирован», когда всплыли компрометирующие документы касательно его политического прошлого). Останки Вольтера были перенесены в Пантеон в июле 1791 года, а Руссо — двумя годами позже. Останки Марата пробыли в Пантеоне с сентября 1794 по февраль 1795 года, когда их постигла судьба Мирабо.

<sup>16</sup> Жоффре приводит перечень из семидесяти одной выдающейся личности, могила или урна с прахом которой находится в Пантеоне. Принимая во внимание переменчивую историю здания, нет ничего удивительного в том, что большинство из них появилось здесь в революционную и наполеоновскую эпоху, а теперь почти или совсем забыто. Возрождение Пантеона как важного патриотического места произошло только при Третьей республике, особенно благодаря погребению Вик-

пленников официального национализма действительно находятся там, но это не имеет никакого значения, потому что взгляд посетителя задерживается где угодно, но только не внизу.

Как это часто бывает, «неудачливые» могилы лучше всего раскрывают механизмы, стоящие за успехом их соперников. В начале 1910-х годов в Норте, новом муниципальном кладбище, спроектированном американским градостроителем, был возведен небольшой пантеон для погребения филиппинских национальных героев, причем останки некоторых из них действительно были погребены в нем в американскую эпоху. Сегодня на Филиппинах мало кому известно о существовании этого ветхого пантеона. Снаружи он все еще остается узнаваемым, но само помещение стало жилищем кладбищенского смотрителя и его семьи, а ниши вдоль стен теперь заполнены игрушками, кассетами, консервами и кухонными принадлежностями. Филиппинским Вольтеру с Руссо удалось спастись благодаря преданным похитителям тел, часто из числа родственников; их тела помещены в усыпальницы родных городов, где за ними теперь можно ухаживать, а сами они исчезли из поля зрения официального национализма, приобретя волшебную ауру единичного. Между тем Норте прекрасно живет собственной жизнью, кульминацией которой каждый год является *La Vispera de Todos los Santos*, канун Дня всех святых, когда тысячи семей приходят к могилам своих родственников и целый день занимаются тем, что запускают бумажных змеев, играют в карты или маджонг, курят сигареты или марихуану, выпивают, молятся, делают приношения и порют детей.

В этом есть нечто забавное, что редко можно увидеть на национальных торжествах, возможно, потому что структура церемониала не вписывается в серию и разбита на отдельные ячейки. Каждая семья может заниматься почти одним и тем же, но *abuelos* каждой из них абсолютно незаменимы и не представляют интереса для других. Большинство филиппинских президентов покоятся здесь в пышных могилах на главной аллее кладбища, но никто не обращает на них внимания, даже в духе горы Рашмор, и только отдельные потомки приходят навестить их.

Где-то между копией-образом и усопшим лежат два странных творения официального национализма: могила Неизвестного солдата и Кенотаф. Но, как станет очевидно ниже, их первоначальный впечатляющий успех был неоднозначным и зависел от некоей ауры единичности, которая обеспечивалась исходным замыслом их создателей.

Британское правительство, которое, по-видимому, первым ввело такие мемориалы сразу после Первой мировой войны, с самого начала всерьез было обеспокоено возможностью того, что Неизвестный солдат может «бежать» или будет похищен, как в Норте, в случае установ-

тора Гюго в 1885 году. Позднее, среди прочих, там были захоронены Эмиль Золя, Жан Жорес, Жан Мулен и, одним из самых последних, Жан Моне.

ления его личности. Керзон, например, настаивал на том, чтобы Неизвестный солдат «остался неизвестным».<sup>17</sup> Поэтому для этого мемориала подбирались останки тех, кто были убиты в первые месяцы войны: тела должны были быть максимально разложившимися и изуродованными до неузнаваемости. Четыре таких тела были отобраны военными чиновниками, а одно выбрано по жребию, став единственным исключением из правила, которое строго-настрого запрещало подобное обращение с мертвыми подданными его величества Георга V. Эсминец перевез через Ла-Манш шестнадцать бочонков с пятьюдесятью мешками французской земли. Тем не менее похороны в Вестминстерском аббатстве состоялись при большом стечении народа. Более одного миллиона двухсот пятидесяти тысяч человек прошло мимо открытой могилы в течение нескольких дней после 11 ноября 1920 года. Кенотаф, торжественно открытый монархом в то же день, вызвал сопоставимый отклик. Тысячи пришедших оставили венки.

Лучшее, что мы можем сделать для того, чтобы узнать, как эти события оценивались правящим классом, — это обратиться к лондонской *Times*, писавшей:

Никогда прежде с такой охотой не говорилось, что все мы равны, что все мы части одного тела или, скорее, одной души... Все мы играли в одном оркестре... в этом молчаливом ритуале присутствовало самозабвение, желание, чтобы сбылось пророчество... что все мы на самом деле стали членами одного политического тела и одной бессмертной души.<sup>18</sup>

Проверочное слово «с такой охотой», поставленное перед «говорилось, что все мы равны», свидетельствует о том, что это просто лицемерная болтовня официального национализма. Но интересно, почему эти новые церемонии действительно «сработали» тогда для простых людей. Имеется два наиболее убедительных объяснения. Во-первых, это, конечно, незапланированное следствие национализации государством павших и их насильственной изоляции за пределами Великобритании. Никому из миллионов понесших тяжелую утрату не позволено было похоронить своих мертвецов в ячеечной манере Норте. Дополняя друг друга, пустота Кенотафа и одинокая полнота могилы Неизвестного солдата сделали возможным привнесение частной памяти и скорби. Привлекательной стороной этого было то, что каждый из присутствовавших имел возможность такого привнесения, при этом сознавая, что тем, кто приходил сюда со своей памятью до него и придет после него, его чувства понятны. Канун Дня всех святых? Во-вторых, это просто новизна самого ритуала. Люди не посещали их с мыслью, что они будут приходить к ним каждый год, и в сотнях других мест — иными словами, ритуалы не находились во власти серийности и логики копии, не имеющей оригинала. В 1920 году

<sup>17</sup> См.: Laqueur. *Memory and Naming*. P.163.

<sup>18</sup> *Times Armistice Day Supplement I*. 1920. Nov. 20. P.1. Цит. по: *ibid.*, p. 158.

они обладали аурой единичного.<sup>19</sup> Но такой успех в случайном соединении позднего официального национализма и частного горя всегда оказывается ограниченным во времени. Логическое создание серий и копий быстро вступило в игру. На Арлингтоне теперь есть четыре Неизвестных солдата — по одному для Первой мировой, Второй мировой, Корейской и Вьетнамской войн, — а также Неизвестный конфедерат. День памяти павших отмечается между пятницей и понедельником — в бесконечной серии календарных лет — в последние выходные весны.

Теперь, когда мы знаем, что реальных умерших одновременно забывают, копируют, изолируют, ставят на поток и делают неизвестными, самое время вернуться к парадоксальному вопросу о происхождении того, что можно называть лишенностью оригинала. В последней главе «Воображаемых сообществ» я говорил, что разрывы конца XVIII века, сами по себе ставшие векторным сочетанием продолжительных трансформаций, породили — совершенно неожиданно — новое сознание. Это сознание, помещенное в гомогенное, пустое время, создало амнезию и отчуждение, точно соответствующие забыванию детства, которое происходит с наступлением половой зрелости. Разверзлась пропасть, заставлявшая Жюлья Мишле — и позволявшая ему — говорить *за* поколения мертвых «французских» мужчин и женщин, не знавших, что они были таковыми. И в этом соединении появился нарратив нации с его странной антигенеалогической телеологией, зависящей лишь от того, «насколько далеко сумеет пролить свой прерывистый свет лампа археологии».<sup>20</sup>

Страстные первопреходческие личные заявления Мишле о «спасении» бессловесных мертвых не были пронизаны реальным осознанием себя в качестве временного Творца. Но как только его слова стали доступными для прочтения всем, модель оказалась доступной для «пиратства». По иронии судьбы, чаще всего к такому пиратству прибегали те люди и институты, которые стремились обосновать свою легитимность прошлым происхождением — знать, постколониальные элиты и т.д. Предполагаемые потомки норманско-франкоязычных баронов, которые заставили подписать Иоанна Великую хартию вольности, написанную на латыни, оказывались, в перевернутой телеологии Мишле, законными носителями лозунгов английского национализма.

*Перевод с английского Артема Смирнова*

<sup>19</sup> Так, в наше время, в Вашингтоне, округ Колумбия, стоит «Вьетнамская стена» из черного гранита, перед которой продолжают явственно плакать люди.

<sup>20</sup> Эта обратная теология превратила Великую войну в Первую мировую и сделала государство Израиль прообразом Варшавского восстания. Поэтому не существует никакого Творца нации или, скорее, Творцами являемся постоянно меняющиеся — здесь и сейчас — «мы».